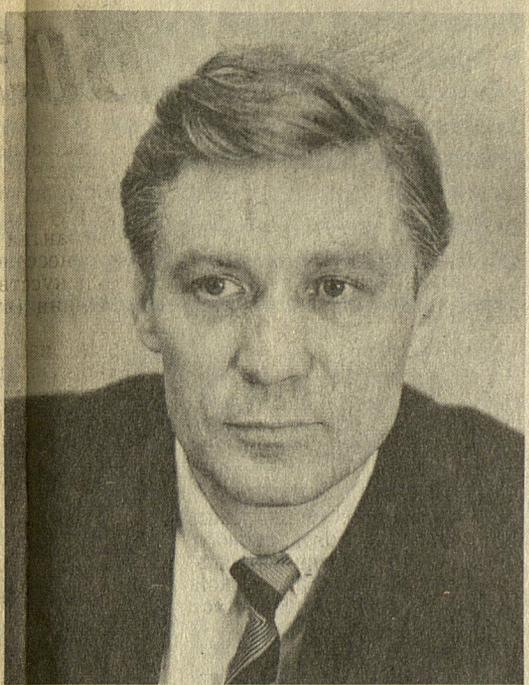


Михайлов А.

31/10/87

ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ

Александр Михайлов:
**СКАЖУ
О ЛЮБВИ К РОДИНЕ**



Бордовый бархат пустующих кресел, поблескивающий золотом занавес, обрамляющий неожиданно серую, скупую декорацию.

Сегодня здесь, в помещении Московского театра оперетты, работает съемочная группа «Мосфильма». Снимается один из эпизодов будущего фильма режиссера В. Лонского «Мужские портреты». Человек со свечой в костюме и гриме Ивана Карамазова — Александр Михайлов. Двойное преображение: в картине он играет актера, играющего героя Достоевского.

Длинный спортук, светлая бородка почти не меняют облика артиста, это особенно заметно с моего места в глубине зала, где установлена и камера.

Вполголоса, как им кажется, переговариваются осветители, где-то стучат молотком, смех за декорацией.

Терпеливо дожидаясь тишины, Михайлов не выдерживает: «Все, ребята, теперь замолчали!» Еще два-три удара молотком, и уже можно различить сдержанный, глухой, как бы из самой глубины идущий голос артиста: «Я много раз спрашивал себя, есть ли в мире такое отчаяние, что победило бы во мне эту иступленную, неприличную, может быть, жажду жизни...».

Дрожит в интонациях загнанный внутрь темперамент, клокоча, вырываются слова, и чувствую — близки они душе самого Михайлова, как могут быть близки душе каждого человека.

Казалось бы, зачем такая тщательность в отрывке, который снимается на очень общем плане, чуть ли не под титры?

— Вы спрашиваете, что для меня Достоевский? Самой первой моей ролью во Владивостоке после окончания института был Раскольников. Долго у меня не получалось, изнервничался до стресса, но все-таки одолел. Мне тогда года 24 было. Видимо, не готов оказался, растерялся перед многообразием красок, бесчисленными пластами мысли. Ведь Достоевский не просто вскрывает душу человека, он ее обнажает. Для меня он самый русский писатель из классиков, самый любимый и самый опасный. Опасный потому, что подчиняет себе, обволакивает душу, заглядывает в нее, больно в ней резонирует.

Прошло 7—8 лет, и снова встреча с Достоевским — князь Мышкин. Это уже в Саратове.

И сейчас в этом кусочке, в небольшом монологе Ивана, на фоне которого пойдут титры картины, не могу лукавить перед любимым писателем. До конца познать всю его глубину трудно, невозможно. Но попытаться понять как можно больше самому и донести это свое понимание до зрителя артист должен. Даже в маленьком отрывке «под титры».

А тогда, на съемках в театре, режиссеру казалось — Александр капризничает. То ему шум мешает, то копаются в мизансцене — со стулом, без стула, со свечой, без свечи. Можно подумать, что в театре разрешили снимать вечно. В раздражении стоят друг против друга ре-

жиссер и актер, двое крепких сорокалетних мужчин, проработавших вместе две картины («Приезжая» и «Белый ворон»), по жизни друзья. Каждый понимает, что, не дотяни Михайлов на экране монолог Ивана, стыдно будет обоим.

— Жалко, времени на репетиции почти нет. То, на что в театре отпущено месяц, два, в кино делается за несколько дней. А ответственность куда больше, ведь выходишь на миллионы зрителей. И поправить ничего нельзя будет. Другое дело, что не все, что нам предлагают, стоит так старательно репетировать. Но с Чеховым, Толстым, Достоевским — с этими писателями так нельзя. В русских классиках есть то, что так важно для меня и что мы постепенно теряем в жизни, — вера в красоту, доброту, живую человеческую душу. Помните, «красота спасет мир».

Мне кажется, сейчас возрос интерес к Достоевскому среди молодежи. И это закономерно. Искусству всегда, во все времена интересен был человек, прежде всего человек. Ничего сложнее, многообразнее, глубже и прекраснее, чем внутренний мир человека, природа не создала.

А брейк, рок — это все болезни роста. То, что «металл» не главное, они и сами скоро поймут. Переболеют и поймут. Я разговаривал со многими молодыми ребятами, вернувшимися из Афганистана. Такое впечатление, что это другое поколение, так отличаются они от своих сверстников. Как будто прожили лишний десяток лет. Такая колоссальная произошла в них переоценка. Молодежи свойственно чем-то безоглядно увлекаться. И тут не нужно ничего запрещать, но не нужно и потакать. Можно увлекаться западными танцами, но знать, что боль своей семьи, своей земли — главная боль. Только тогда останешься человеком. Чем меньше мы будем ориентировать свои вкусы на нестойкую закордонную молодежную моду, тем будет лучше. Ведь есть опасность потерять себя, свою индивидуальность, превратиться в человека без корней, без прошлого.

Я не ханжа. Достаточно побывал за разными границами, был и в Америке. Но все-таки самыми сильными чувствами, которые я вывез оттуда, были любовь к своей стране, боль за нее и сострадание. Сострадать (чувство, к пониманию которого я тоже пришел от Достоевского) — это значит принимать чужую боль как свою, будь то человек, покинутая деревня, разрушенный палисадник.

Это Николай Рубцов. Очень люблю его. Настоящий поэт. Его стихи доходят до сердца каждого русского человека правдой сострадания.

Именно сострадание родной земле объединяет, на мой взгляд, всех действительно талантливых поэтов и писателей. И вот странно, чем больше исходят они из каких-то подробностей своих биографий, конкретных деталей, даже географического положения, тем ближе они всем нам...

Первый раз я увидела Михайлова, как говорится, живьем не на съемочной площадке, не в гримерной или коридорах «Мосфильма», а у него дома — оказалась в числе гостей.

Здесь пригнулся, там обошел, не задел — он прекрасно вписывается в небольшую московскую квартиру. Книжки по углам стопками (видно, класть уже некуда), видеомэгафон и сразу три гитары (Рубцова тоже поет) — на виду все пристрастия хозяина.

— Как только появилась возможность дома смотреть «Кукушку» Формана, — это он друзьям рассказывает, — поставлю, думаю, погляжу

начало только, и-и... смотрю до конца. Раз двадцатый уже. Великая картина...

И потом на кухне: «Саша, да оторвись ты от телевизора! Все подряд смотрит — и «Сельский час», и «Служу Советскому Союзу!». Он оборачивается, смущенно улыбаясь, пойманный на том, что на этот раз увлекся «Кавказской пленницей».

— Я за ироничную интонацию, за гротеск. У нас с режиссером В. Меньшовым это отчасти получилось в фильме «Любовь и голуби». Если нация умеет подшутить над собой и делает это смело, значит, она жива. В этом смысле отдаю предпочтение грузинскому кинематографу. Сколько юмора, самоиронии и вместе с тем любви к своему народу в их картинах. Мы же привыкли — этого не коснись, так не скажи. А теперь, когда все можно, главная беда в том, что мы-то зачастую уже не можем. Иногда не можем смело не то, что поступить, подумать даже. Что поделаешь, столько лет спеленутыми были. Оказывается, самый страшный цензор — в нас самих. Многим нужно заново учиться говорить правду, как человек заново учится ходить после тяжелой и продолжительной болезни. К счастью, Россия никогда не была бедна на честных и искренних людей, которые всегда жили и творили по совести, за что многие из них и страдали. Вышли рукописи, не сгоревшие в лихие годы, фильмы, положенные на полку, вот мы и ощущаем сейчас подъем в искусстве. А по-настоящему нового в художественной сфере мало. Действительно новыми и интересными стали как раз документальные, публицистические материалы и в газетах, и по телевидению.

С художественными произведениями сложней. Тут все не так быстро происходит.

— Ну, — Михайлов прерывает затянувшуюся паузу. — Вы еще о биографии спрашивали? Я человек сугубо городской, Москву люблю и представляю себе жизнь без телефона, телевизора, автомобилей, метро уже не могу. И деревню люблю.

Наверное, у всех бывают моменты слабости, когда что-то не получается, хочется плюнуть, бросить все, уйти. Тогда-то и помогают воспоминания детства, того самого голодного, послевоенного. Они нас хранят, такие воспоминания, не дают изменить себе.

Думаете, что же он хочет главное-то сказать? Я сам часто над этим думаю. Что-то же объединяет всех этих сыгранных мною русских мужиков вместе и меня с ними? А во мне — Достоевского, Распутина, Шукшина.

В общем, получается так, что сказать я хотел о любви к Родине...

Алла МУРЕНКО.

● А. Михайлов.

Фото А. Пашвыкина.